

га: майор. В переводе с латыни это – старший – в значении не армейском, так как в армии есть титулы повыше, а синонимичном *старейшине, патриарху* или – в тоталитарном государстве – *вождю* (не оттого ли Фидель Кастро назвал себя не генералом, а майором?). Однако и плац-майор Достоевского считал себя не просто начальником, а “царем и богом” [1, т. 4, с. 90, 218] каторжан, господином над их телами и душами. Услышав однажды, как один из заключенных поименовал другого его тюремным прозвищем “майор”, он, говорит Достоевский, «...рассвирипел и обиделся до последней степени. “Да знаешь ли ты, подлец, что такое майор! – кричал он с пеной у рта (...), понимаешь ли ты, что такое майор!”» [1, т. 4, с. 78]. В своей двуединой функции острожный майор “Записок...” – прямой наследник таких “наставников” *казарменных утопических социумов*, как, например, Верховный правитель “Города Солнца” Т. Кампанеллы, о котором сказано: “Он является главою всех и в светском и в духовном, и по всем вопросам и спорам он выносит окончательное решение” [4, с. 146].

На ассоциации с социальными утопиями “рабоботала” в “Записках” и приставка майорского звания – *плац* (место), делающая начальника Омских арестантов властителем не только людей, но и некоего топоса. Ведь утопия дословно и означает место (площадь), которого нет и которое лишь создано фантазией человека. Столь же фантастически-аномальным выглядит и местоположение – в дикой и голой сибирской степи, вдали от обычного человеческого жилья – каторжного острога из “Записок...” Достоевского. Чем-то неправдоподобным веет и от общего облика этого дома, как его видит художник: “Тут был особый мир, ни на что не похожий, тут были свои особые законы, свои костюмы, свои нравы и обычаи (...), жизнь, как *нигде*, и люди особенные” [1, т. 4, с. 9] (Курсив наш. – В.Н.).

Итак, в итоге ее материализации утопическая система омского плац-майора породила общежитие, населенное людьми, но безжизненное по существу: “тяжелое, однообразное, удушающее” [1, т. 4, с. 19].

В случае с начальником Омской каторги такой результат отвечал его злобно-деспотическому нраву. Но, по мысли Достоевского, Мертвым домом окажутся на деле “образцовые” “капитальные здания” субъективно и самых человеколюбивых утопистов. Больше того: Мертвый дом “Записок...” и был критическим переосмыслением одного из них.

Свидетельство тому – дополнительный фрагмент к основному тексту произведения, посланный писателем в сентябре 1860 г. в Петербургский цензурный комитет. «Попробуйте, – говорит здесь художник, – выстройте дворец. Заведите в нем мра-

моры, картины, золото, птиц райских, сады всякие, всякой всячины... И войдите в него. Ведь, может быть, вам и не захотелось бы никогда из него выйти. (...) Все есть! “От добра добра не ищут”. Но вдруг – безделица! Ваш дворец обнесут забором, а вам скажут: “Все твое! Наслаждайся! Да только отсюда ни на шаг!” И будьте уверены, что вам в то же мгновение захочется бросить ваш рай и перешагнуть через забор» [1, т. 4, с. 250].

Нарисованный здесь комфортный вариант тюрьмы едва ли не детально предвосхищал “громadнейший дом” “великолепнее дворцов” с огромными зеркалами и изящной “металлической мебелью” [5, с. 287–288] из романа Н.Г. Чернышевского “Что делать?” (1863). Совпадения эти закономерны: у обоих “дворцов” один и тот же источник – утопический дом-*фаланстер* Шарля Фурье, где должны были совместно проживать и трудиться тысячи человек. Но ведь и в Омском остроге в “вынужденном общем сожительстве” [1, т. 4, с. 22] и таком же труде пребывают двести человек; и он, подобно дворцу Чернышевского, “как футляром” покрытому строением из чугуна и стекла [5, с. 287–288], обнесен “высоким тыном, то есть забором из высоких столбов (...), врытых (...) глубоко в землю” [1, т. 4, с. 9]. Таким образом, и обезличенное каторжное узилище, в его изображении Достоевским, оказывается всего лишь разновидностью того же фурьеристского фаланстера.

И это действительно так. Показательна оценка системы знаменитого французского утописта другом Достоевского поэтом А.Н. Майковым. Доставленный в 1849 г. в Следственную комиссию по делу петрашевцев, он на вопрос, знает ли и одобряет ли он учение Фурье, вполне искренно отвечал: “Конечно, знаю (...) А одобряю ли? – конечно, нет. Фаланстеры представляются мне чем-то скучным, некрасивым и неудобным. Во-первых, жаль было уничтожить города, а затем жить в казарме, в коридоре, в номере – нет, покорно благодарю; не иметь своего дома – да это все равно, что жить на улице!” [1, т. 18, с. 193–194]. Но и для самого автора “Записок...” “общее соительство” (“На работе всегда под конвоем, дома с двумястами товарищей и ни разу, ни разу – один!”) [1, т. 4, с. 11] было “чуть ли не сильнейшей, чем все другие”, мукой каторжного существования [1, т. 4, с. 22].

Вскрывая иллюзорность и антигуманность рационально рассчитанных, а потому неизбежно уравнилельных “коммун” (фаланг, общин, братств) французских социалистов (Ш. Фурье, Э. Кабе, В. Консидерана, П. Прудона и др.), Достоевский в “Зимних заметках о летних впечатлениях” (1863) писал: “Социалист, видя, что нет братства, начинает уговаривать на братство. (...) Но тут опять выходит загадка: кажется, уже совершенно га-